

Лев ОЗЕРОВ

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИИ

ЧЕЛОВЕК-



СПЕКТАКЛЬ

ликий Улялюм» — и Агитатора: «Запальчивость — не значит храбрость. Дерзость — обезьяна отваги». В пьесе все действовало, и самое слово было действом. Оно несет огромную нагрузку. Оно играет. Оно на месте. Его не выкинешь, как из песни.

Познакомился я с Юрием Карловичем Олешей перед самой войной. Он уже начинал уставать от славы, от длительного молчания, от усиленного общения. Мне было интересно смотреть на него. Он молчит, он глядит в сторону, он о чем-то думает. Глаз не отвести. Захватывающее интересно.

В разные годы и в разных местах я почитательно смотрел на автора «Зависти» и «Трех толстяков». Для меня он был учителем, его вкусу я безоговорочно верил. Я не мог примириться с тем, что со временем РАППа его держали в тени, да и он так прыжок к ней, к тени, что стал убеждать себя и других, будто без нее он не будет Олешей. Он был слишком ярким, и недруги занимались тем, чтобы пригасить его блеск.

Я искал случая показать ему свою привязанность и свое давнее почтение к нему и его личности. Мне не терпелось вступить с ним в беседу.

Однажды без лишних слов он повелел: «Читай!» — и я понял, что речь зашла о моих стихах.

Он охотно, забыв обо всем другом, напряженно слушал их, очень интересно и почитательно для меня говорил о них.

Эта встреча нас сблизила. В личности и судьбе Юрия Олеси было много такого, что заставляло напряженно думать. Он заставлял думать не только над своими высказываниями, но и над недосказанным. И всегда казалось, что это человек неограниченных возможностей, но осуществлялся он частично, в малую их долю, и это было печально, и это заставляло сожалеть о не совершенном им...

После долгой беседы мы расстаемся, он уходит, и я смотрю ему вслед. Он удаляется по сужающейся дорожке. Это привлекает мое внимание. Об этом сложились стихи, завершающиеся так:

Олесь горбатый стол.
Олесь ветхостолый.
Я наблюдал, как шел
Художник вдоль дороги.

Он брел, как арестант,
Свободно в зелень вкраплен, —
Но то веселый Дант,
Но то суровый Чаплин.

Я прочитал эти стихи Олеше. Мы выжили к сочетаниям «суровый Дант» и «веселый Чаплин». Но Олеша, его облик, его способ жить и мыслить разбили этот стереотип, совместили в себе несовместимое.

Помолчав, Юрий Карлович сказал:

— Это мне приятно: «Не то веселый Дант, не то суровый Чаплин». Здесь что-то уловлено... А вообще это мои люди: Дант, Бетховен, Наполеон... — И после паузы он добавил: — Чаплин.

Он вспоминал их часто.

Он был человеком редкой и постоянно действовавшей любознательности. Кто первый взлетел в небо? Кто первый встал в Греции? Кто проплыл на гуске через океан, на шепке переплыл через Ла-Манш? Где эти выдумщики, смельчаки, отчаянные головы? Он должен знать их поименно.

Его интересовало все: начало нашего века, политика, Уточкин, жирондисты, Блерио, теория метафоры, Циолковский, первый паровоз, первая электрическая лампочка... Его интересовали начала, начинания, первые попытки, пробы. Не сами по себе, а их переход — мягкий или взрывчатый — в дальнейшее. Процесс перехода в новое качество.

Он не таил это все при себе, не таился, а выносил на суд людской, широкими жестами, как на площади или с трибуны, делился своими мыслями с собеседником. Говорил он крупно, решительно, отрубленными фразами, не заглаживая слов, не мельтешил, не сутулится. В его разговоре все было важно и незримо подчеркнуто волнистой чертой.

Любил озадачить.

Дом в Переделкине. Первый этаж. Ранней ночью приоткрывается дверь.

— Вы спите? И вы можете спать? Фраза интонационно идет по восходящей. Словно взбегает по крутой лестнице. Вздохновенный, ходит Юрий Карлович взад-вперед. Одна рука за спиной, другая за казую.

На мгновенье останавливается:

— Что сказал Наполеон о славе?

Рука выхвачена из-за пазухи и протянута вперед — резко. Как в Конвенте.

— Не знаю.

— Не знаете? Позор! Думайте. Я вернусь через десять минут за ответом.

Он ходит по коридору, что-то громко читает, затем поворачивается на каблуках и обращается ко мне:

— Итак, что сказал Наполеон о славе?

Я пожимаю плечами.

— Позор на вашу голову. Слушайте.

«Слава — это солнце мертвых», — сказал он четко, любясь каждым из этих четырех слов. Он прочитал их как начало некоего трагического монолога. — На сегодня вам хватит для раздумья, а может быть, и на завтра хватит.

Вечером он сообщил мне, что якобы найдены ученические тетради Наполеона, где якобы есть такая запись: «Елена — остров в океане». Олеша посмотрел на меня строго:

— Понимаете, как все предопределено.

Детская рука выводит свой приговор.

Он удалился в свою комнату и вскоре принес мне растрепанный том французского исследования о жирондистах. Этот том он проштудировал досконально. И вот говорит громко и торжественно:

— Дарю. Вам надо знать историю, молодой человек. Не шутите с историей. Готовьтесь к рынку, накапливайте сведения, в вас все созрело, не пропустите мгновенья.

Я вижу его руки, руки скульптора. Он лепит фразу. Из мокрой глины он делает цветы. Красоту! Он поклоняется красоте. Он работает мечтая и мечтает работая.

— Что может быть более радостного, чем делиться прекрасным!

Эту фразу Олеша произносил много раз. Как меня обрадовало, что я позднее нашел ее — слово в слово — в его записи о Данте.

Он читал Данте. «Боже мой, здесь целый пожар фантазии!» Он любил хрестоматийные строки: «Горек чужой хлеб, и круты чужие лестницы».

Говоря о Данте, Олеша восклицает:

— Это за мощь подлинности! Не удивительно, — говорит он, — что, встречая Данте, на улицах Флоренции, прохожие отшатывались в священном страхе: «О боже мой, он был в аду!»

Олеша увлекательно рассказывал о любимых художниках и любимых книгах. Он умел это делать.

Пиратские-счастливые, удачливые, всемирно-хвалимые, очень поощряемые, не вызвали его восторга. Он любил художников трудной судьбы, гордых, независимых, свободных и нищих.

Меня удивляло, как причудливо сочетались в одном человеке разные черты разных характеров: гордость, скромность, ирония, лирика, негодование, смирение, пронзительность, доверчивость.

Для каждого своего состояния он искал и находил определение, сперва уместившееся в абзаце, а в конце концов доведенное до одной фразы — афоризма. Он ценил золотые крупинки афоризмов, найденные человеком. Он повторял их, записывал на память людям, особенно юношам и детям. Так, он записал в альбом четырнадцатилетнего Саши, моего подопечного:

«Бетховен сказал: — Я не знаю другого превосходства, кроме доброты. По-моему, хорошо сказал! Юрий Олеша».

Юрий Карлович не просто играл в афоризмы. Он воспитывал в отроке доброту. И описал в этом своем желании доброты на Бетховена. Саша и в дни службы в армии не забыл о доброте Юрия Карловича Олеси. Жизнь подтвердила афоризм о доброте как отваге.

Это записано в апреле 1959 года. Тогда же он сделал запись в альбоме моей дочери:

«Лена! Лейбниц (философ и математик XVII-XVIII веков) сказал: — Музыка есть арифметика души, не умоющей самое себя вычислить. Постарайтесь, Лена, ее вычислить, свою душу, или облить в музыку. Юрий Олеша».

В пору, когда Олеша делал свою запись, дочь еще училась в музыкальной школе. Олеша внушил ей веру в свои силы, а мощь музыка: она стала хормейстером.

Вместе с Юрием Карловичем мы отправлялись на прогулки. В конце апреля 1957 года, «в дни кометы», как явствует надписи на книге, подаренной мне, Олеша учил меня разглядывать небо за деревьями. В полночь. В два часа ночи. Перед рассветом. Мы ложились наземь, смотрели на небо. Олеша произносил при этом какие-то фразы назидательного характера, обращенные либо к самому себе, либо ни к кому. Он разговаривал с кометой. Вздыхновенность его по поводу прохождения кометы чувствовалась всеми. Он полгал,

что комета может внести нечто новое в состояние умов...

Он всю жизнь хотел написать пьесу. Собственно, пьесы у него были: «Три толстяка», «Заговор чувств», «Список благодетелей», заготовки, инсценированные повести и романы.

И все же он хотел написать пьесу. Ту самую, одну-единственную, в которой он выразится весь. Свое «Горе от ума».

Он писал ее, но ему казалось — не пишет. Все останется в черновиках.

Есть авторы многих пьес, но у них нет театра. Есть авторы одной пьесы, но у них есть театр. Театр Грибоедова. Театр Булгакова. Театр Олеси.

Олеша любил театр. Для него это значило не столько ставиться, сколько быть на людях. Жизнь — театр. Жизнь — карнавальное действо. Олеша — человек-спектакль.

Театр — это больше, чем помещение, больше, чем зрительный зал со сценой.

Театр — это метафора жизни. Это второе имя жизни.

Олеша — король и шут в одном лице. Олеша — борется с самим собой, но на людях.

Олеша — одинокий человек, тоскующий о братстве и свободе.

Он писал пьесу для МХАТа.

«Смерть Занда» содержит замечательные находки для десяти пьес. Но нет одной. Остались черновики, и Михаил Левитин их прочитал и поставил в театре «Эрмитаж».

Этот режиссер и его труппа показали, что есть такой театр — театр Юрия Олеси.

Идет сцена. И герой в конце ее говорит. «Зачеркнуто».

Зритель смотрит пьесу и присутствует при творчестве драматурга.

Уникальный эксперимент Михаила Левитина.

Олеша любил черновики. Пробраться сквозь джунгли беглых записей было для него отчаянием, чем ставить точку в конце сочинений. Беловик, законченность, закругленность — он стремился к этому, хотел этого всей душой, но все же был близок к тому, чтобы считать это фикцией. Проза XX века — в недовысказанности и эскизности.

Он рассматривал себя как черновик великого писателя.

Стать великим мешало многое. Время. Характер. Судьба. Но по морщинистому лицу Олеси молнии величия скользят, хотя и бегло, но более внятно, чем по бронзе иных монументов.

Болтовню ненавидел. Искусство беседы бегло.

Я слышал беседу Олеси и Шкловского о Пушкине, Sterne, Мольере, Эйзенштейне. Это невоспроизводимо. Это было пиришество. Я был на нем — свидетельствую.

Он хотел быть богатым и прославленным, но всего больше хотел быть свободным.

Он осуществлял в полноте свободного вымысла.

Сказочником быть — это ему нравилось. «Три толстяка» — наиболее устойчивое произведение Юрия Олеси среди других его произведений.

Проблемы менялись, уходили. Характеры на вывалились. Наиболее прочным оказался вымысел.

Юрий Карлович умел радоваться. Радость его шла от постоянной жизнедеятельности его мысли. Книжки его тогда переиздавались не часто. Молодежь знала его плохо. Но вот Вахтанговский театр поставил его инсценировку «Идиота». Этот спектакль прошел с успехом, о нем писали. Олеша любил вспомнить свою театральную молодость. И успех «Идиота» воодушевил его. После одного из спектаклей он рассказывал мне:

— Я шел раскланиваться мимо актеров: лица которых пахли земляникой. Как я люблю этот запах театра, запах моей молодости!

Его увлекала инсценировка «Гранатового браслета» Куприна. Он много работал. Я видел его в напряжении, в веселой суете этой работы. Когда он уезжал из Переделкина, я снял с его письменного стола зеленый лист настольной бумаги, исписанный фразами из этой инсценировки. Я унес этот лист к себе и до сих пор собираю эту удивительной красоты картину, взяв в руку. Я увидел неистовство работы, красоту неистовства работы.

Давно я собираюсь снять со стены портреты писателей и повесить их черновики, густо исписанные, испещренные поправками их произведения. Это их истинные портреты.

Мне было больно смотреть на то, как Юрий Карлович идет по улице, держа под мышкой одну или две стертые папки для бумаг, небрежные папки, без тесемок или с развязанными тесемками. Из папок вы-

тарчивали бумаги. Очевидно, он их терял. Я с сожалением сказал ему об этом.

— Ничего не пропадет! А если и пропадет, туда ему дорога.

Это были папки с рукописью книги «Ни дня без строчки». Олеша поглядывал на меня отрешенно. У него в голове целые миры, а я ему о какой-то бумажке...

Мы бывали в кафе «Националь», где Юрий Карлович считался завсегдаем и своим человеком. Заглядываю в огромное окно кафе и, если вижу характерный профиль Юрия Карловича, захожу в кафе. «Националь» без Олеси и Светлова, казалось, был невозможен.

Однажды Юрий Карлович пригласил меня за свой столик. К нам подошла официантка, которую я знал в лицо. Она несла в руках меню. Юрий Карлович взял из ее рук меню, почитательно наклонился вперед, поилив меню к груди, будто ему передавали верительные грамоты. Потом он положил меню на стол, обернулся к официантке, взял обе ее руки и обе руки поцеловал.

— Ольга Николаевна! — подвел он ее ко мне, знакома с ней церемониально, как на дипломатическом приеме. То, что у другого выглядело бы выспренне и натянуто, у Олеси было изысканым, а главное — естественным.

Когда официантка удалась с нашим заказом, Олеша сказал мне:

— Я вам расскажу об Ольге Николаевне, и вы поймете, что у нас не мужчины, а мясники. Заметили? Интеллигентное лицо, и в то же время есть что-то в нем нетронутое, деревенское, милое и уже запуганное и забитое. Знаете, я ей как-то сказал: «У вас волосы цвета осенних кленов». Она задумалась: «Мне никто никогда ничего подобного не говорил». «А говорил ли вам кто-нибудь, что на ваших часах время остановилось, с тем чтобы полюбоваться вами?». Глаза ее затуманились, она заплакала. Я потом понял, что это была, может быть, неуместная с моей стороны лирическая поспешность. «Что вы плачете?» — «От мужа, за которым я уже вот восемнадцать лет, никогда и в намеке не слышала ничего такого...»

Пронзительная и возвышенная любовь к человеку — вот что родило Олешу с Чаплином. Заключительная сцена из «Огней большого города»: слепая героиня прозрела и увидела своего нищего спасителя, и вот им надо расставаться...

— Вы помните глаза Чаплина? Помните этот цветок в зубах?

Он спрашивает об этом не в первый раз. Бродяжничество и скитальчество Данте увлекало его с высшей точки зрения — духовной.

Эпос Олеси раскололся. Большое зеркало на малые осколки: «Ни дня без строчки»... Но эти осколки чудесны. Они говорят о большой, постоянной, интереснейшей работе его мысли, его глаза, его слуха.

Он появлялся в Клубе писателей, в Доме журналиста с разными людьми. Однажды он позначил меня с седым стариком в потертом драповом демисезонном пальто и мятой фетровой шляпе. Человек был не то что назывался хмельной, в точности бы сказать — пьяненький.

— Кто это? И какое он к вам имеет отношение? — спросил я.

— Кто был как вы смеете! Этот человек возил Карузо по России! Осторожней, это мой друг!

Он любил неожиданности, и если жизнь ему не позволяла их, он сам организовывал такие неожиданности, конечно же, с тем, чтобы радовать людей, вносить в их жизнь разнообразие, некоторый наем на существование! Чужда. Неожиданности! — вот чего он хотел от встречи с человеком, от беседы, от строки.

Для него же самой неожиданностью стала его болезнь. Врачи строжайше запретили ему курить и пить. Беда!

Я встретил его, глядя выбитого, в новой шляпе, трезвого и угрюмого. Респектабельный Олеша? Это другой человек. Я видел перед собой очень большого человека. Но он не сдавался. Решение верное позднее. Мы остановились на солнечной стороне. Он поведал мне, что ему хотелось бы в жизни еще успеть: поведаться с Чаплином, побывать в музее восковых фигур, присутствовать на Корнелии, написать повесть и пьесу, дописать книгу «Ни дня без строчки»...

Я понял, что Олеша сломал старый порядок своей жизни и хочет начать новую жизнь.

До этого случая, на других примерах, я понял, что после союда — сорока пяти лет, а может, и того раньше, не должно менять образа жизни, которым жил ты до этого. Я посмотрел вслед удаляющемуся Олеше, и мне стало не по себе...

«Солнце мертвых». И вот мы идем с Олешей по дороге, и нам не хватает дороги. Да нашей беседы — она продолжается уже в его отсутствие.